

Л.И. Шестов

SOLA FIDE - Только верою

**Греческая и средневековая
философия. Лютер и церковь**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 101
ББК 87
Л11

Л11 **Л.И. Шестов**
SOLA FIDE - Только верою: Греческая и средневековая философия. Лютер и церковь / Л.И. Шестов – М.: Книга по Требованию, 2024. – 294 с.

ISBN 978-5-458-24814-3

Среди бумаг, оставшихся после смерти Льва Шестова, оказалась неоконченная рукопись, озаглавленная *Sola Fide*, написанная в Швейцарии между 1911 и 1914 г., которая не была в то время напечатана. Рукопись представляет собой некий ключ к философии Шестова, духовную автобиографию, единственную в украинской и русской религиозной философии, и спустя 70 лет после смерти Шестова представляет большую ценность. Шестов выбрал заглавием книги изречение *Sola Fide* (Только Верой) неслучайно. Оно относит нас к временам Лютера, когда реформатор самовольно изменил текст Священного Писания: слова апостола Павла к Римлянам - "Человек оправдывается верою" на "Человек оправдывается только верою". Этот момент, вызвавший много споров богословских кругах, не только ярко характеризует борьбу молодого Лютера за веру (см. гл. II, 2-ой части) но и, собственно, «странствования по душам» самого Льва Шестова, чья борьба за веру была столь близка борьбе Лютера. Рукопись состоит из двух частей, без указания заглавия. Редакторы назвали эти части : Греческая и Средневековая Философия, Лютер и Церковь. Шестов не опубликовал рукопись целиком в 1920 г. вероятно потому, что часть высказанных в ней идей вошла в книгу Власть Ключей, написанную в России между 1914 и 1918 г. и вышедшую в Берлине по-русски в 1923 г. Но теперь читатель может ознакомиться с полным сводом рукописи Шестова

ISBN 978-5-458-24814-3

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Греческая и Средневековая Философия

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГРЕЧЕСКАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

I

Patī, domine, aut mori — страдания, Господи, или смерти — так молилась св. Тереза, жившая во второй половине XVI-го столетия.

За две тысячи лет, с лишним, до нее, один из знаменитых циников, основатель школы и ученик Сократа, Антисфен, воскликнул — лучше мне сойти с ума, чем испытать удовлетворение жизнью (*μανείην μᾶλλον ή ἡσθείην* — Целлер II-1, 260). Платон, по преданию, сказал, что ученик Антисфена, Диоген, — это сошедший с ума Сократ. И Платон был прав. Безусловно Диоген, и не только Диоген, но и учитель его и его ближайшие ученики были сумасшедшими, и притом не просто сумасшедшими, а именно сумасшедшими Сократами, т. е. сумасшедшими мудрецами. Бояться удовлетворения — в то время, как все человечество, за все время своего существования, в удовлетворении видело смысл и сущность жизни, — разве это не очевидное безумие, притом, безумие „систематическое”, такое же систематическое, как и мудрость Сократа.

Как жили циники, — это более или менее всякий знает, и об этом едва ли нужно распространяться, тем более, что современного человека не очень соблазняет ужас жизни, ее трудность и грязь, — период „натурализма” давно прошел. Мы даже торопливо пробегаем те строки пророка Иезекииля, в которых он рассказывает о своих приготовлениях к пророчеству, о лепешках, которые он ел по повелению Бога. Нужно только не

забывать, что циники считали себя отмеченными перстом Божиим. Они говорили *τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας θεῶν εἰκόνας εἶναι* — хорошие люди подобны богам — (Целлер II-1, 267). Так же, как и Сократ, они повиновались тайному, непонятному внушению отдавать красоту и радость существования взамен безобразия и ужасов. Они говорили, что красота и радость не нужны, что они мешают человеку приблизиться к Богу, что они дают удовлетворение, а удовлетворение хуже, чем безумие ; от удовлетворения, учили они, надо бежать, как от чумы. Как известно, современники ненавидели и презирали циников, называли их собаками, и только немногие, очень чуткие люди, как Платон, и, если верить преданию, ученики Аристотеля удивлялись или, по крайней мере, задумывались над странной жизнью этих безумных мудрецов, этих отверженных людей. Я не буду останавливаться на аргументации, которой циники оправдывали свое миросозерцание, точнее свою жизнь. Помимо того, что их учение, т. е. соображения, которые они предлагали в доказательство своей правоты, затерялись в глубине веков, как затеривается все, что не может идти на потребу людей, я не думаю, чтобы эта аргументация представляла бы для нас очень большой интерес, даже и в том случае, если бы она была очень тонкой, остроумной и убедительной. У нас так много остроумных и убедительных аргументаций — что, право, гораздо полезнее забыть иные из тех, которые мы уже усвоили, чем усваивать новые. Тем более, что несомненно жизнь циников отнюдь не определялась их рассуждениями. Не было еще случая, чтобы человек шел на безумие, руководствуясь доказательствами рассудка. А если бы такой парадокс и оказался возможным, если бы действительно разум мог бы своими доказательствами приводить к безумию, — тогда . . . тогда ведь этим самым разум навсегда отменил бы себя. Но, повторяю, несомненно разум не повинен в безумном бреде и безумной жизни циников, как не повинен он в безумии Иезекииля. Безумие имеет свой самостоятельный источник, свою смелость и свою силу, и свою — кто знает, правоту ? Платон, ученик Сократа говорил, что величайшее несчастье сделаться ненавистником разума (мисалог'ом). Циники, тоже ученики Сократа, вовсе не находили в этом несчастья, наоборот, они видели в том, что Платон считал разумом, начало всякого несчастья. Платон добивался законченности, объяснения, довольства, удовлетворения. А все такие душевные

состояния, сказали бы циники, если бы знали средневековую терминологию, — от лукавого. Почему они так думали, — вернее чувствовали — едва ли кто может дать ответ на этот вопрос.

Было что-то в глубине души циников, что делало им ненавистной всякую законченную устроенность на земле. Платон был прав: в Сократе было два гения. Один, нашедший свое выражение через философию Платона и особенно Аристотеля, — гений разума. Другой, попытавшийся получить свое выражение в философии циников. Платон и Аристотель покорили весь мир. Вот уже две с половиной тысячи лет, как господствуют эти великие ученики великого учителя над человеческими умами.

Кто хочет, чтобы его слушали, кто хочет оставить после себя заметный след в истории, — тот должен пройти школу греков. Даже средневековые, даже католицизм, как увидим ниже, не избег в этом отношении общей участи. Хотя и существует мнение, что в средние века философия была прислужницей теологии, но это не больше, как *fable convenie*. У теологии были в распоряжении костры и потому казалось, что все ей повинуются, казалось, что она неограниченная повелительница. На самом же деле отношение философии к теологии всегда, и в первые века христианства и вплоть до настоящего времени, было то же, что и отношение между римлянами и завоевавшими римскую империю варварами: побежденные диктовали законы победителям. Формально власть принадлежала, конечно, католическому духовенству. Но оно не смело и шагу ступить, не спривившись предварительно у своих светских греческих учителей. Недаром Фома Аквинский называет Аристотеля просто *Philosophus' om*, т.е. вечным, неизменным и непреодолимым законодателем мысли. То, что Фома говорил, уже задолго до Фомы думали и делали католические мыслители. И если они называли Аристотеля *praeursor Christi in naturalibus* (¹) — то это только потому, что теология с ее кострами требовала, как и все завоеватели, признания за собой внешних суверенных прав. На самом же деле, Аристотель был и остался для католичества *praeursor' om Christi, как in naturalibus, так и in supernaturalibus* (²). Мы не преувеличим, если скажем, что Аристотель господствовал не только над мыслью, но и над фантазией европейских народов.

(¹) Предшественник Христа в естественном.

(²) Предшественник Христа как в естественном, так и в сверхъестественном.

Католичество без аристотелевской философии так же немыслимо, как немыслимо оно было без римского оружия. Чтобы победить непокорных и заставить склониться пред собою народы, католичеству был необходим и аристотелевский разум и — римский легион. *His signis* (этими знаками) и только *his signis* оно могло создать для себя то прочное положение, которому до сих пор дивятся и не могут надивиться историки.

Если бы вместо Аристотеля, потомка разумного Сократа, католицизм избрал себе в вожди Диогена, потомка Сократа безумного, католичеству история отвела бы только несколько незаметных страниц, как сейчас отводят учению и жизни циников, стоиков, или средневековых еретиков — неудачников. Прочные победы даются только здравому смыслу, умеющему создавать великие философские системы и организовывать обширные государства с вышколенными армиями. Миром правит не сумасшедший, а здравомыслящий Сократ. И тем не менее, как это ни странно, через 2000 лет после Диогена, св. Тереза, канонизированная и признанная великой католической церковью, повторяет слова древнего циника: *pati aut mori* — если ей не дано страдать, то она не хочет жить, она предпочитает умереть.

II

Слова Антисфена и св. Терезы, затерявшиеся, в качестве сомнительных парадоксов среди бесчисленного количества других парадоксов как ни на что не нужные и мало стоящие, как нельзя более подходят к тому, чтобы открыть доступ в ту область, которую я хочу предложить вниманию читателя. Каков Сократ разумный, — это все знают, или думают, что знают. Разумным Сократом у нас принято измерять ценность всех явлений жизни. Ведь Платон, когда он назвал Диогена сумасшедшим Сократом, ни мало не сомневался в том, что этим своим приговором он лишает навсегда Диогена места в ареопаге вершащих судьбы человечества. Я бы сказал больше, — Платон не только хотел отнять у Диогена право быть судьей и вершать судьбы людей, он хотел этим своим приговором отвести Диогена даже в том случае, если бы Диоген претендовал не на роль законоучителя или судьи, а только на простую роль свидетеля. Диоген и свидетелем быть не может, ибо Сократ, сошедший с ума, уже больше не Сократ, даже не человек. Его можно из нравственных побуждений не лишать жизни, но

считаться с ним совершенно не приходится. Так говорил и думал древний грек, несмотря на то, что в древние времена ещеочно держалась мысль, что безумие имеет божественное происхождение ⁽¹⁾. Современная же мысль усвоила убеждение Платона, как самоочевидную истину, не подлежащую ни доказательству, ни даже обсуждению. Если ее не всегда высказывают, то только потому, что она кажется слишком самоочевидной. Но, что без нее наша мысль не может сдвинуться с места, это все знают и никогда не забывают. Чтобы не ходить далеко за примером, я указу только на двух историков — Гарнака и Ренана. Оба говорят: „нельзя безнаказанно пренебрегать здравым смыслом” ⁽²⁾. Они нигде этого не подчеркивают, не находят нужным даже выставлять это положение, как „предпосылку” своего мышления. Но попробуйте лишить названных писателей этой предпосылки, и вся их огромная историко-философская работа потеряет под собой почву. Непосредственный опыт, конечно, на их стороне; пренебрежительное отношение к здравому смыслу безусловно ни для кого не проходит безнаказанно. Но, точно ли необходимо во что бы то ни стало избегать наказания? Что, если Антисфен и св. Тереза правы? Что, если можно, если н у ж н о сознательно пренебречь здравым смыслом и сознательно же понести наказание? Ведь от наказания не уйдет человек, как бы он ни изворачивался! За то, что человек появляется на свете, ему приходится тяжело расплачиваться: жизнь покупается ценой ужаса неизбежной смерти. Это можно забыть, но не знать этого нельзя. Еще Анаксимандр считал всякое индивидуальное существование незаконным, и эту незаконность все существа должны искупать гибелью; но ведь новые существа приняли и незаконность и ответственность за незаконность своего появления на свете. И большой вопрос, лучше ли было бы, если бы в виду грозившего наказания, в виду неизбежной смерти, все живое отказалось бы от безумия существования, следуя советам Гарнака и Ренана или указаниям здравого смысла.

Может кстати будет здесь припомнить, что по учению Платона (Целлер II, 533) для человека так же больно переходить от

(1) *μανία* — вдохновение. Целлер (II-1,511) во втором примечании говорит: « вообще, вдохновение религиозное, или в искусстве, греками называлось безумием ».

(2) « Allein Niemand verachtet ungestraft Vernunft und Wissenschaft » (Harnack. Dogmengeschichte; III, 869). — Никто безнаказанно не презирает разум и науку.

созерцания чувственного мира к постижению истинно сущего, как для глаза, привыкшего к темноте, перейти к внезапному свету. И тут непосредственно перед новой жизнью, — угроза и опасность наказания. Когда-то наступит новая жизнь, и будет ли новая жизнь, — а угроза наказания стоит перед нами во всей своей конкретной осязаемости. И все-таки Платон, осудивший Диогена, устремился к боли, к страшному. *Pati aut mori* — если в этом человеческий „идеал“, то ведь вернейший путь к нему именно в пренебрежении к здравому смыслу, ко всякому смыслу. Сумасшедший Сократ — т. е. Диоген или Антисфен, окажутся более надежными вождями, чем Сократ разумный, т. е. Платон или Аристотель.

И далее : здравый смысл сразу намечает путь историка и философа (ведь каждый историк есть философ, ибо историк не может описывать, он принужден мудрствовать, лукаво мудрствовать, — кажется теперь это уже не тайна. Нужно мудрствовать каждому, кто говорит о жизни ; нужно выбирать из того, что видишь, нужно объяснять, нужно оценивать — а ведь, это и значит философствовать). Раз опасность подвергнуться наказанию признается мотивом столь серьезным, стало быть ясно, что опасностей следует избегать и, стало быть, еще яснее, что нельзя идти туда, где вас ждет опасность. Вопреки Терезе, человек спасается и от смерти и от страданий, вопреки Антисфену, нет ничего хуже безумия и лучше удовлетворения и довольства. И, раз в этом основная задача жизни, то, стало быть, философия, стремящаяся дать человеку мудрость, должна добывать только такие истины, которые помогают избавиться от безумия и страдания и отдаляют на возможно продолжительный срок смерть. Философия так и делает — она опасных истин не признает. И, чтобы вернее достигнуть своей цели, она опасные истины не называет истинами, а называет заблуждениями. Тот же протестантский историк Гарнак говорит, что возможность вреда от истины не служит возражением против нее. И не только свободомыслящий Гарнак, даже ортодоксальный католик, как Цан, утверждает то же : и от своего имени, и от имени католической церкви, которую он представляет в своем сочинении, он заявляет, что добивается истины во что бы то ни стало и готов принять всякую истину, не справляясь о том, будет ли она полезна или вредна, потребует ли она жертвы или принесет награду. Я, конечно, знаю, что нельзя сравнивать Цана с Гарнаком. Гарнак замечает

тельный историк, имя которого прогремело на весь мир, Цан скромный профессор, известный только в католических ученых кругах. Затем, Гарнак совершенно свободен от внешних уз, Цан подлежит предварительно цензуре своего духовного начальства. И тем не менее, в данном случае они совершенно сошлись. И тот и другой вовсе не безразлично относятся к вредной истине. Более того, оба они в гораздо большей степени пекутся о пользе, чем об истине. Относительно Цана, я думаю, никто и спорить со мной не станет. Для правоверного католика не то — что полезность, но полезность истины для католической церкви всегда являлась и является высшим критериумом. Но этого он никогда не скажет. Наоборот, он патетически восклицает, что истина для него дороже всего на свете. И знаете, я далек от того, чтобы подозревать Цана в сознательной лжи. Вероятнее, что он совершенно искренен, что он в самом деле думает, что служить католической церкви и служить истине все равно. Если он вам скажет, что туркам достался Константинополь потому, что схизматики греки отказались присоединиться к флорентинской униони, если он скажет вам, что в тот час, когда на ватиканском соборе был провозглашен догмат „непогрешимости“ папы, Бог послал свои громы и молнии, как тогда, когда Он возвестил на Синае Свой Завет, он (Цан) и в самом деле думает, что он сообщает только одну истину и что кроме истины ему ничего не нужно. Он проверяет свои суждения особым, как ему кажется, высшим критерием. Гарнак, конечно, смеется над легковерным католиком. С ним, он уверен, не может случиться ничего подобного, — он историк опытный и изощренный, он знает, как легко люди попадаются в силки предрассудков и суеверий, и он умеет оберечься. Нужно только не пренебрегать здравым смыслом — и истина обеспечена за тобой. Но допустите, что эта его предпосылка неверна, допустите, что здравый смысл помеха для истины и, что наоборот, господство истины есть погибель для здравого смысла, т.е. что истина опасна для здравого смысла, как она опасна для католичества. Согласился бы Гарнак принять ее, тем не менее? Выбрал бы он такую опасную истину или предпочел бы здравый смысл? Двух ответов, я полагаю, быть не может. И, стало быть, утверждение Гарнака, что истина оценивается им независимо от ее вреда и пользы, не соответствует действительности. Оно есть *pia fraus* (благочестивая ложь), повидимому в такой же степени необходимый положительному ученому, как и богослову. Истина становится для Гарнака неприемлемой гораздо

до раньше, т.е. в гораздо менее серьёзных случаях, чем обсуждаемый нами. Она будет отвергнута не только тогда, если она посягнет на права так называемого здравого смысла, но даже и тогда, когда ей придется опорочить какое-нибудь иное, привычное и нужное убеждение. Если бы истина потребовала признания того, что Лютер вовсе не был таким уже идеально-немецким человеком, каким его изображают протестанты, если бы нужно было согласиться, что реформация была делом не великого пророка, а скажем, отступника — хватило ли бы у Гарнака мужества отнять у своих единоверцев их возвышающий обман ? Даже больше : при той опасности для протестантизма, для общественной нравственности, которой грозит низведение Лютера с пьедестала, могли бы Гарнак, при всей своей незаурядной добросовестности, разглядеть истинного Лютера ? Для того, чтобы видеть то, что есть, мало искреннего желания, мало даже мужества — нужна иной раз героическая готовность резать ножом по живому телу. И, кажется, люди на это редко, может никогда не бывают способны. Видят они не потому, что хотят видеть, а потому, что не видеть не могут. И пока не наступил их час, они остаются католиками, либеральными протестантами, либо просто учеными-позитивистами, материалистами или идеалистами.

III

Я назвал здесь имена трех современных писателей : Гарнака, Ренана и Цана не случайно. Мне хотелось указать на тех людей, современников наших, которые, по задачам своей деятельности, стоят ближе всего к религиозному творчеству, или, по крайней мере, к иудейско-христианскому религиозному творчеству. По общему представлению, господствующему в наше время, религиозное творчество по существу своему отличается и должно отличаться от всякого иного творчества. Это вам скажет и такой человек, который всю жизнь свою положил на изучение истории и литературы церковной, и такой человек, который кроме минимальных, обязательных сведений, почерпнутых из ходячих учебников, ничего о религии не знает. Но когда вы коснетесь вопроса, каков же именно источник религиозного познания, есть ли религия познание, в чем критерий истинности религиозных познаний — тут уже единогласия вы не скоро добьетесь. Один станет говорить об откровении, другой о внутренних переживаниях, третий, на манер Спенсера, об анимизме и т.д. И чем